

Pro memoria

О. Г. Ревзина

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Рассказы о Юрии Михайловиче Лотмане

*

Мой старший сын Гриша готовился к сочинению про конфликт отцов и детей в известном романе Тургенева, и тут приезжает в гости Юрий Михайлович. Юрий Михайлович подошел к окну, постоял минут пять (Гриша говорит, что три), обернулся и прочитал полтора часовую лекцию на заданную тему.

Вывод: все лекции были у Юрия Михайловича в голове!

*

К решению написать о Юрии Михайловиче я отнеслась очень серьезно – прочитала имеющуюся литературу, вновь изучила некоторые его работы. Выпиваю черный кофе, выкуриваю сигарету, перехожу от окна к окну. В голове вертится что-то невообразимое: «Он был такой милый, вообще чудесный...»

Ну какие тут могут быть выводы?

*

Ведь как началось? В августе 1964 года, в Эстонии, в Отепя, недалеко от только вступавшего в семиотическую известность Кяэрику. На маленькой площади, в довольно призрачном свете вечеряющего неба. Там, на этой площади, мы стоим с Исааком Иосифовичем Ревзиным, к нам приближается худощавый, небольшого роста человек с усами и говорит: «Десять часов. Сцена у фонтана». Так и сказал. Каково?

*

У него были большие, голубые и очень грустные глаза. Да еще чем дальше, тем больше Юрий Михайлович становился похож на Эйнштейна. А сам такой энергичный, веселый, и никакого трагизма. Я не отгадала загадки этих грустных глаз. Они пришли не от войны, но они были задолго до тяжелой болезни. Что говорили глаза, того Юрий Михайлович словами не высказал.

*

Юрий Михайлович позвонил и предложил сходить к известному историку Петру Андреевичу Зайончковскому. Сидим в высотке у Красных ворот, чай с вареньем пьем, и тут Петр Андреич подступает к своему заветному: «А давайте, Юрий Михайлович, вспомним, какие у нас есть члены Британской академии. Ну вот Вячеслав Всеволодович, Вы, Юрий Михайлович...» – «И Вы, Петр Андреевич». И так восемь раз.

Вывод: Юрий Михайлович был очень добрым и снисходительным к слабостям хороших людей.

*

Я обратилась к младшему сыну: «Женя, каким ты запомнил Юрия Михайловича?». – «Он был в черном костюме с накладными карманами, в черных ботинках, белой рубашке; волосы каре с прямым пробором, седые; губы ровные; нос волевой, хрящеватый, с горбинкой, увеличивающийся книзу. Глаза с прищуром, голубые, чуть навывкате, роскошные усы щеткой слегка топорщились».

Это Женя говорит об открытии последней конференции в Кязрику – в 1985 или 1986 году. На берегу озера Женя играл в одуванчиков, как будто это Атос и д'Артаньян, но также ходил и на заседания, слушал доклад про нотные записи. Исаак Иосифович был здесь на трех семиотических школах, и я была вместе с ним. Нелегко было приехать вновь, когда Исаака Иосифовича больше не было в живых. Каждая ступенька была – шаг назад, как это было, как могло бы быть сейчас, и шаг вперед, потому что все равно идти надо. Юрий Михайлович поднялся со мной по длинной высокой лестнице, ведущей от дороги к пансионату. Все произошло как будто случайно, но я тогда же оценила этот жест понимания и сочувствия.

А вывод очень прост: чуткость была всеобъемлющим качеством Юрия Михайловича, и никакая публичность не могла ее заглушить.

*

Да, но те же публичность и известность могли помешать, когда нужно было сделать простой человеческий шаг к нему навстречу, когда этот шаг был необходим. Сколько раз мне хотелось написать ему во время его последней болезни! Но я останавливала себя: вокруг него родные, самые близкие, ему все пишут, а мы уже довольно давно не общаемся. То есть, как я сейчас понимаю, я думала о себе, о том, как это будет воспринято, если я напишу, но не о Юрии Михайловиче. А в 1997 году были изданы его «Письма». 19 мая 1991 года он

пишет Ф. С. Сонкиной: «Настроение у меня смутное: я сейчас, впервые в жизни, в обстановке абсолютного одиночества. Тем людям – очень милым, включая моих детей – я по сути совершенно не нужен. А я всю жизнь был не только нужным, но и необходимым». Он ждет, ждет писем, конечно, только дорогому человеку он мог писать «Отзовись, отзовись, отзовись!» и иметь всего три просьбы: пиши, пиши и пиши, но ему были бы дороги и нужны всякие письма. Гриша говорит, что масштаб личности Юрия Михайловича чувствовался сразу, а масштабность – это же не величие ума и торжество первопроходца только, мужество свое Юрий Михайлович доказал сверх всякой меры, масштабность может быть и в том, чтобы испытывать тоску и боль, чтобы нуждаться в людях. Все позади теперь – и горькие сухие слезы, и позднее раскаяние. О своих чувствах я пишу здесь скорее для того, чтобы сказать о мощном, об очищающем воздействии личности Юрия Михайловича даже и после его смерти.

*

По утверждению Жени, в Кяэрику Зара Григорьевна была «в коричневой кожаной куртке бордо с ремешком и в зеленой юбке в крупную клетку». У него остались в памяти седые волосы, маленькие уши и то, что Зара Григорьевна часто говорила «Блок, Блок», а Юрий Михайлович – «Зара, Зара». У Зары Григорьевны, действительно, была великолепной лепки голова и красивое лицо. Огромные яркие синие глаза, живой доброжелательный взгляд, низкий пучок густых волос (а седина еще и украсила Зару Григорьевну) с пушистыми завитками на очень белой шее – все это сразу же отпечатывалось в сетчатке глаз и никогда не пропадало. Эти выдающиеся люди были на редкость демократичны. Учившаяся в Тарту и довольно долго жившая там Лена Аболдуева называла Юрия Михайловича Юрмихом, как очень многие, а вот Зару Григорьевну – не иначе как «Зарка, Зарочка». Юрий Михайлович рассказывал как-то об их женитьбе, как они пошли в загс, а там говорят: «Ну садитесь, пальто снимайте!». Зара Григорьевна прямо бегом из этого загса, потому что пальто-то у нее было ничего, приличное, но под ним – байковый халат, чтобы потеплее было. Один раз Зара Григорьевна и Юрий Михайлович были в гостях в нашем доме, и Юрий Михайлович пошел спать к Пятигорским, а Зара Григорьевна осталась у нас. Мы много встречались на конференциях и в гостях, но вот чтоб спать под одной крышей – этого не было. В подобных случаях могут возникать неловкости – вечерний туалет совершать дома как-то уютнее. Зара Григорьевна вела себя на редкость естественно, мы немного поговорили, на утро Зара Григорьевна вышла из кабинета бодрая, свежая, с блестящими глазами. «А я всегда был убежден, что я первый...», – написал Юрий Михайлович после смерти Зары Григорьевны, и в другом письме: «...ночами плачу о Заре» Здесь можно только склонить голову: великий и очень большой человек, по собственному восприятию «старик – седой, сгорбленный, весь в морщинах» разворачивает в памяти ушедшую жизнь, принявшую теперь форму всепроникающей боли. Великое благо – открытие границ – оборачивалось непредсказуемостью. Я помню, как горевала жена выдающегося ученого оттого что ее мужа «не выпускают хотя бы в Польшу, не говоря уже о Патагонии». Незадолго до поездки

в Германию я говорила с Юрием Михайловичем по телефону, было ощущение, что это какой-то сгусток новой, устремленной в другой мир энергии. Боюсь, что это был вообще мой последний разговор с Юрием Михайловичем, а ведь получилось так, что именно в этот разговор произошла едва ли не единственная размолвка с ним, и связана она была как раз вот с этим «другим миром», как это у меня тогда мелькнуло в голове. Речь шла о том, чтобы передать Юрию Михайловичу книжки, завещанные ему нашим другом, очень дорогим для него и для меня человеком, я видела в этом свой святой долг, который должна выполнить, но Юрий Михайлович сказал, что встретиться не получится, что пусть книги останутся у меня, и предложил деньги для памятника. Я была уязвлена, мне казалось, что так нельзя и что никакому настоящему нельзя разрешать, чтобы прошлое меркло. Сейчас я думаю, что многое не знала тогда, главное – о том, что Заре Григорьевне необходима операция. В Германии Юрию Михайловичу произнесли приговор и продлили жизнь на пять лет. Но вот этот тромб «после вполне благополучной операции», остановивший сердце Зары Григорьевны! После того как Исаак Иосифович погиб от нераспознанного тромба в московской академической больнице, мне не надо рассказывать, что тромб не имеет родины. Все это так, «но все же, все же, все же...». Как я понимаю, операцию потому и делали в Италии, что верили: там не допустят ни оплошностей, ни роковых случайностей. Я тут вновь перечитала «Культуру и взрыв» – книгу, которая является научным и человеческим подвигом Юрия Михайловича. Сам Юрий Михайлович видел в ней пересмотр «самых основ структурного подхода», и Гриша сделал этот пункт центральным в своей рецензии на книгу. Я спросила Гришу: «Гриш, но ведь это очень близко к И. Пригожину, так и видишь «диссипативные структуры» и «точки бифуркации», хотя Юрий Михайлович этими определениями не пользуется». «Да, но это впервые обращено на культуру...» Все мне кажется, что Юрий Михайлович неслучайно написал именно эту книгу в те годы, когда уже начали реализовываться «равновероятные возможности», открывающиеся после крупнейшего социального взрыва в российской истории XX века. Юрий Михайлович считал, что взрыв необходим, как и стабильность, и усматривал в нем позитивный потенциал. Пушкин писал, что «Есть упоение в бою И битвы мрачной на краю», а Тютчев, как известно, – «Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые...» Да пусть бы их вовсе никогда не было, взрывов!

*

Юрий Михайлович называл себя аскетом и стойком, и это справедливо. А я вспоминаю почему-то, как они втроем – Юрий Михайлович, А. М. Пятигорский и Б. А. Успенский – тузили друг друга, оказавшись как-то вместе у меня дома. Смотрелось на это и думалось: «Недоигранное детство!» Кроме того, приехав один раз в Москву делать доклад, Юрий Михайлович купил в магазине «Березка» коричневый вельветовый пиджак в рубчик и выглядел в нем настоящим фертом. А Лена Аболдуева так рассказывала о жизни в Тарту, что мне прямо передавалось то веселое возбуждение: и по ночам-то они у окон Юрия Михайловича стояли, и почти что «Юрмих, выходи!» кричали, и коварные планы по его женскому оболъщению выстраивали... Юрий Михайлович

на самом деле любил Лену. Он, видно, заметил ее с того момента, когда Лена, для которой эстонский язык был родным, отказалась говорить на нем в знак протеста против локальной дискриминации русского языка в ее университетской группе. Я впервые увидела Лену в Кяэрику: она сидела на маленьком мостике и задумчиво глядела на воду, погрузив в нее ноги в кроссовках. Она была незаурядной личностью, и она была художницей. Гордая, обидчивая, преданная, независимая – какие слова найти для Лены, раз выбравшей свою судьбу и ни на йоту не отступившей от того, что считала своим предназначением. В тот день, когда Филипп Моисеевич Гершкович впервые появился в Тарту, Лена уже увидела его во сне и поняла, что он станет ее мужем. Как она заботилась о нем, какая мука и какая вера звучали в ее голосе, когда она позвонила из венской больницы, в которой спасали и не спасли Филиппа Моисеевича, как десять лет, нищенствуя, издавала она его произведения, как сгинула молодой в безвестности в блаженной, красивой Австрии... В течение нескольких лет Лена приезжала ко мне в гости два-три раза в неделю, примерно около пяти часов вечера, я гладила детское белье, готовила еду. Колючая и беззащитная, Лена если уж доверялась, то безоглядно, если хотела что-то сказать – говорила до конца. Разница в возрасте и статус ученицы не явились никаким барьером в дружбе Лены с Зарой Григорьевной и Юрием Михайловичем, а уж какой она была им помощницей и как они ее ценили – да вот, Юрий Михайлович пишет в письме к Б. А. Успенскому, что «Лена Аболдуева вполне свободно может совершать не очень крупные чудеса». У меня осталась разрисованная Леной красно-коричневая кухонная доска, на ней трубит в рог добрый смешной карлик в шляпке с бубенчиком, остались ее письма и фотографии некоторых ее картин. Она принесла их ко мне в больницу, где я пребывала некоторое время между жизнью и смертью ввиду весьма серьезной операции. Зачем принесла? Да скажу я об этом словами М. Цветаевой: чтобы было мне «легче дышать, крепче спать».

*

В эту же больницу пришел и Юрий Михайлович. Была жестокая зима, был вечер, посещения уже заканчивались, Юрий Михайлович вошел в палату в халате, накинутом поверх дубленки, держа в руках большие красно-оранжевые апельсины. В такое время, когда решается, будет ли иметь место продолжение собственной жизни, все воспринимается очень четко. Вот и я помню дорогих моих, таких отчаянно молодых соседок по палате: они рождались в жизнь для жизни, а им суждено было – умереть. В письме к Б. Ф. Егорову Юрий Михайлович, чуть иронизируя, пишет про себя, что из него «скоро выработается недурной проповедник». Юрий Михайлович вроде и не сказал ничего особенного, но такая от него исходила сила добра и сочувствия, что после его ухода – пусть это хоть сто раз звучит банально – на этот вечер стало повеселее в нашей белой камерке, в которой гипс, бинт, кровь, кости, цветные кофточки, распущенные волосы, «вещи бедных», запах лекарств и застывшие от ужаса глаза складывались в привычную картину человеческого горя, отчуждения и страдания. Заговорили о том, что наш профессор – бог, что он все может, что вообще диагноз пока окончательно не поставлен, а

«золотая головка» – дородная девушка из Полтавы с кудрявыми, короткими и действительно совершенно солнечными волосами, у которой ноги переплелись как лианы из-за необратимой потери кальция, так вот это Танька вдруг рассказала, как в нее был влюблен один парень и, может быть...

*

В связи с «пасторским» началом Юрия Михайловича – еще три эпизода, один смешной и два серьезных. Начну со смешного. Летняя семиотическая школа 1970 года закончилась развлекательно-трудовой прогулкой на корабле по Псковскому озеру. Там делались доклады об итогах Школы по основным секциям, а вечером был банкет, на котором каждый пил, сколько считал нужным. Ближе к ночи сделали остановку на берегу, один из подающих надежды, но не признанных пока что новых участников семиотического действия предложил мне прогуляться вглубь леса. И вот в то время когда этот участник давал вдохновенную клятву в том, что мир еще узнает о нем (мир, действительно, узнал) и семиотики горько пожалеют о своем доброжелательно-нисходительном к нему отношении, сами семиотики, в лице виднейших и учнейших мужей, снарядили вслед за нами поисковый отряд, возглавлявшийся Юрием Михайловичем. Какие-то, видно, существовали сомнения относительно моих нравственных принципов. Искреннее возмущение (я мнила себя непогрешимой) отступало перед неудержимым хохотом: вот они идут в темноте, почва неровная, кругом коряги, можно и оступиться, но – «Мы знаем, мы многое знаем Того, что не знают они!», то есть мы с этим участником. Кстати – в лесу было тогда чудесно.

Приехав как-то в Москву к нашим соседям Пятигорским, Юрий Михайлович пригласил меня к ним для серьезного разговора. Он счел нужным предостеречь меня против дружбы с неким общим знакомым. Мотивация Юрия Михайловича состояла в том, что отец этого знакомого был известен как человек неприятный буквально во всех отношениях. Я слушала Юрия Михайловича с веселым изумлением. И не то чтобы хотелось выпалить: «Юрий Михайлович, а как же «Сын за отца не отвечает»? Почему-то вспомнилось, как в университете на собрании группы было решено поговорить с одной девочкой, чтобы она не водилась с одним мальчиком и что из этого вышло. Что можно сказать по прошествии жизни? Действительно, пусть бы генетически иное и не передавалось, а вот дружба наша с этим теперь уже почтенным человеком и отцом семейства не прекратилась никогда!

Я очень верила Юрию Михайловичу и в другой жизненной ситуации спросила: «Юрий Михайлович, следует ли общаться с человеком, которого считаешь порочным?» Юрий Михайлович ответил не раздумывая (то есть это было его убеждение): «Оля, никого никогда нельзя отталкивать». Лишь одного выдающегося ученого и вдохновителя семиотики можно было сопоставить с Юрием Михайловичем по научной и человеческой щедрости, и я обратилась к этому ученому с тем же вопросом. Он ответил не раздумывая (таково было его убеждение): «Оля, никогда нельзя связываться с дерьмом». Мне предложила жизнь собственный ответ, и я смещаю фокус объектива: вот одни глаза – на-

полненные, проникновенные, а вот другие – узкие, длинные – да что это за чертовские огоньки в них скачут?

*

Женя переживал, что он по возрасту не очень подходит к семиотическим чтениям в кругу великих людей. Юрий Михайлович для него был – человек-миф, человек-легенда, и Женя боялся (не без оснований!), что не сможет про-извести на него должного впечатления. А тут еще в квартире Зары Григорьевны и Юрия Михайловича ему бросились в глаза папки с рукописями, а на них одна надпись – «Лотман, Лотман». Я глядела на Женю и вспоминала... Вот Юрий Михайлович звонит и спрашивает: «Как у Вас дела, Оля, с детьми ссоритесь?». Замявшись, я ответила: «Бывает». – «Ну, тогда все в порядке», – успокоил меня Юрий Михайлович. Таким вот он был замечательным умницей. В Женином ракурсе Юрий Михайлович предстал как учтивый, отлично воспитанный человек, с прекрасными манерами. Он выглядел уставшим, но он легко двигался, он любил дело, в нем была энергия разума. Необычайно деятельный, он понимал границы этой деятельности. Функции свадебного генерала он выполнял с иронией. Он был печален, хотя стремился развеселить людей. Он был человеческим и не был членом тусовки, он был одинок, как всякий талантливый человек. Он внимательно слушал, повторял вопрос собеседника, отвечал в уступительной модальности («Я думаю, что не совсем так») – знак внимания и уважения к мысли другого. Женя сказал буквально следующее: «Мне понравилось, что я смог понять, что говорил Юрий Михайлович, потому что он сам так хорошо понимал, что хочет сказать, что ему не требовалось сложных построений». В свой блокнот Женя смог записать простые предложения, в которых Юрий Михайлович говорил о созидательном смысле войны. Слово выполняло у Юрия Михайловича ту функцию, которую он хотел ему придать, и это был его блестящий дар. Юрий Михайлович имел простоту истинного аристократа и в общении стремился к тому, чтобы другие чувствовали себя комфортно, что, как отметил Женя, является признаком человека доброго и благородного. В квартире Юрия Михайловича я закурила, чего нельзя было делать. Попросив извинения, я собралась выйти на балкон, в ответ на что Юрий Михайлович чуть пафосно, но и совершенно серьезно, сказал, что это совершенно невозможно, что он очень любит запах сигарет и скорее уйдет сам, чем допустит подобное.

*

Кязрику было настоящим детищем Юрия Михайловича. Это была школа ума и движущегося по восходящей интеллектуального тренинга. Приехавший издалека Якобсон с ходу включился в напряженный ритм заседаний и обсуждений. Они сидели с Петром Григорьевичем Богатыревым на первой парте и поднимали руку как школьники. В их неплотно сидящих рубашках и сдвинутых галстуках проступал неизбывный русский интеллигентский стиль, и не было разрыва между двадцатыми и шестидесятыми. Юрий Михайлович был центром всего. О своей главной теме: человек и культура в истории – Юрий

Михайлович мог бы сказать словами А. С. Пушкина: «Я понять тебя хочу, Смысла я в тебе ищу...». Для него каждый доклад был личным переживанием. Он был очень внимателен, очень сосредоточен, и все время думал. В том, что и как говорил Юрий Михайлович, не было расстояния между вселенной фактов и вселенной теории. Он очерчивал горизонт, одной-двумя деталями восстанавливал плоть пространства и затем – не нахожу других терминов кроме медицинских – производил его пальпирование и томографию. В этой работе он был сам с собой и только один знал, к чему придет, но он так доверительно мыслил, так умел показать беспощадную красоту логических построений и когнитивную мощь чувственного восприятия, что, когда говорил Юрий Михайлович, в аудитории – и это выходит далеко за пределы Кяэрику – воцарялась творящая тишина. В Кяэрику рабочий день длился «от заката до рассвета», но что бы это ни было – встречи у камина или внештатные променады – в Кяэрику учились, и Юрий Михайлович – больше всех и лучше всех. Между началом и концом декады в Кяэрику было – «семь тысяч верст», а двухгодичный интервал представлял как большая перемена. В одном из писем Юрий Михайлович признается, что роль «пассивного созерцателя» физиологически противопоставлена «его душевному складу». Действительно, он был человеком действия, и успешного действия. В сущности, он исполнял все, что задумывал, но он освобождал результат от трудностей его достижения. Кяэрику было так органично, так естественно, так во время и так *правильно*, а ведь у Юрия Михайловича была еще и другая призма – как легко Кяэрику могло *не быть*. Там приезжавших одаривали вниманием и заботой Анн Мальц и Игорь Чернов, Лена Душечкина и Линнарт Мьяль – все молодые друзья Юрия Михайловича и Зары Григорьевны, их коллеги и их ученики. Там моментально и бесшумно устранялась любая нестыковка, вообще любая дисгармония словно для того, чтобы не искажалась красота этих мест – ландшафтных перепадов, дальних видов, кувшинок в озере, грибов в перелесках. Как четко были прорисованы в синюющем воздухе силуэты Октябрины Федоровны Волковой и Александра Моисеевича Пятигорского, когда я впервые увидела их на ступеньках Кяэрикуского пансионата в августе 1964 года, как светилось лицо Октябрины, как ветер менял конфигурацию ее коротких светлых волос, с какой заинтересованной добротой смотрел на нее лукавым черным глазом Александр Моисеевич! Октябрина была на ты с «Юрмихом», и в Москве Юрий Михайлович с упоением кушал ее фирменные пирожки. И кажется, не было умственных и поведенческих причуд, которые Юрий Михайлович принимал прежде чем Александр Моисеевич задумывал их с блеском исполнить...

*

Мне хотелось понять, почему Юрий Михайлович как будто прошел мимо французского пост-структурализма и тем более деструктивизма. Ему отнюдь не была чужда французская историческая мысль и различие «холодных» и «горячих» периодов в истории, но он игнорировал французское разрушение, происходившее параллельно с собственным созданием Юрия Михайловича. А затем разом дал ответ самому статусу деконструкции в «ГЛАВНОЙ КНИГЕ». Юрий Михайлович прошел войну. Он рассказывал, как в одно славное

утро (запомнилось, что на Дону) он тянул кабель, мимо шла молодая женщина, ухнуло, и когда Юрий Михайлович обернулся, она уже лежала мертвая на жухлой траве в светлой, смешанной со снегом воде. Юрий Михайлович жил с памятью *того* зрения, но война утвердила его в кодексе, которому Юрий Михайлович никогда не изменял: бесстрашие, товарищество, жизнестроительство. В письме к Борису Федоровичу Егорову Юрий Михайлович написал: «Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной». Его «услали» в Тарту, а он из Тарту сделал центр мировой семиотической мысли. Экстрема и жизнь на пределе сил были его повседневностью, но как он писал, какой глубиной и совершенством отмечены сотни его работ! Он чуть ли не в одночасье стал смертельно больным человеком, но, боже, сколько иронии над собственным состоянием, сколько юморного блеска в его письмах последних лет! Юрий Михайлович видел замысел своей книги о Пушкина в том, «чтобы показать *внутреннюю* логику его пути» Здесь поражает совпадение: в семейном кругу и в университете я рассказывала, как Юрий Михайлович понял жизнестроительство Пушкина, и именно это, отсутствующее у самого Юрия Михайловича слово использовал Борис Федорович Егоров в рецензии на книгу. Внутреннюю логику пути Юрия Михайловича я вижу в созидании-жизнестроительстве. Я даже не знаю, думал ли о себе Юрий Михайлович, что он «помог, защитил, поддержал, одобрил», но именно это он делал для многих и многих людей. В огромном мире Юрий Михайлович ощущал как свои болевые точки других и простым напоминанием о себе облегчал боль. Такое письмо, со столь значимым для Юрия Михайловича «военным» сравнением, я получила от него в июле 1975 года: «Как вы (т. е. Вы, Гриша и Женя)? Это не формальный вопрос, не подразумевающий ответа, а другое: однажды, а именно 17 мая 1942 г., когда немецкие танки прорвали фронт (дело было в Северном Донбассе, около г. Славянска) справа и слева от нашего наблюдательного пункта, мы остались совершенно отрезанными. Сохранялась лишь связь с наблюдательным пунктом соседней батареи, тоже от всех отрезанной. Говорить-то нам было особенно не о чем, но громадное облегчение было в том, чтобы минут через 10 окликать друг друга по телефону: «Береза!» – «Береза слушает!». – «Я сосна. Ну, как?» – «Живые». Вот так переключиться – большая радость и сейчас».

Какая уж тут – деструкция да деконструкция!

*

Стихотворение В. А. Жуковского «Воспоминание» можно отнести к «личным» текстам русской культуры. Мы хотели бы относиться к уходу близких так, как об этом написал Жуковский:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*;
Но с благодарностию: *были*.

Юрий Михайлович цитирует это стихотворение в письме к Б. А. Успенскому с связи с годовщиной смерти жены Бориса Андреевича Гали

– одного из самых светлых людей, которых мне довелось встретить в жизни. Галя была очень хорошенькой: синие озерки глаз, чуть выступающие скулы с легкими веснушками, небольшой аккуратный нос, ржанные волосы. Глядя на нее, я почему-то всегда вспоминала поле с васильками, по которому, живя на даче под Звенигородом, мы ходили в лес с отцом, и оттого испытывала к Гале еще большую симпатию. Галя, действительно, была добра, мудра и естественна, как природа, и в ее присутствии все выдуманно-сложное и имеющее свойства мишуры лишалось смысла. После смерти Исаака Иосифовича Галя стала приезжать совершенно регулярно, задерживаясь до полуночи; она привозила детские вещи, игрушки и торт, мы пили чай и разговаривали. Такая встреча должна была состояться и в середине февраля 1978 года, но я попросила отложить ее из-за того, что у Гриши обнаружилась астма и надо было освободить его комнату от всего, что могло вызвать приступ. А больше я Галю живой не видела. Она позвонила и своим чистым, ясным голосом, чуть ли не принося извинения, сказала, что не сможет приехать в ближайшие дни из-за того, что ее болезнь определилась и ей предстоит операция. Галя и в клинике пока могла помогала другим, жизнь ее была деятельным *сочувствием*, – да ведь Юрий Михайлович во второй строке так и написал *Своим сочувствием* вместо *Своим сопутствием*, словно Галя продиктовала ему, кто она была. И там, где у Жуковского курсив, у Юрия Михайловича – резкое, прямое подчеркивание: их нет – были. Для Жуковского, с его глубоко религиозным сознанием, было естественно обращение к тому, кого больше нет: «Прости! Не вечно жить! Увидимся опять!». Свято верила Галя. Людям с иным мироощущением очень трудно перейти от отчаяния «их нет» к отдаляющему и закрывающему «были». Юрий Михайлович не был верующим, но он сумел претворить одиночество боли в высокую сопричастность, даруемую благодарностью. На ум приходит «внерелигиозная религиозность», о которой писал Умберто Эко. Два замечательных ученых XX века мыслят о неизбежности человеческой смерти в параметрах космоса. Почти экстатически пишет Юрий Михайлович в 1986 году о радости жизни и радости ухода: «А если просто абсолютный конец и «земля в землю внидешь», то и это принимаю с радостью. И с бесконечной неисчерпаемой благодарностью за всю радость, которую жизнь давала и еще дает». Но рядом, в том же письме он разворачивает и другую картину: «...а может быть, и никакой смерти нет вовсе, молекулы уйдут к молекулам, ...а вдруг выскочит маленький огненный шарик, который еще «я», задрыгает лучами от радости и, ликуя, вольется в огромный огонь...и уже будет не «я», растворится. И это будет такая бесконечная радость». Умберто Эко в 1996 году словно продолжает визионерское видение Юрия Михайловича, когда называет смерть «взрывом, направленным вовне, эксплозией». Но если уж, как считал Юрий Михайлович, есть благо в сонмище равновероятных возможностей, порождаемых неотвратимыми взрывами, мне по душе вариант Умберто Эко: «...не исключен отпечаток в каком-то там непостижимо отдаленном водовороте Вселенной нашего персонального софтвера (того, что некоторые именуют «душой»), того, что мы сформировали в течение нашей жизни».

Исаак Иосифович Ревзин. 10 лет жизни

Знакомство с И. И. произошло летом 1963 года в Полесской экспедиции. Руководитель экспедиции постановил, что к информантам, то есть жителям, следует ходить по два человека, и соединил в рабочую группу двух людей, попавших в экспедицию в результате случая и не входивших в ее костяк. Книга «Модели языка» была в то время научным бестселлером, но многое в ней казалось загадочным. И почему-то думалось, что по дороге к информантам будет устроен небольшой экзамен по книге, и провал неизбежен. Отсюда возникло естественное решение покинуть экспедицию, но подвел транспорт. Как только состоялся выход из села к огромному полю, через которое надо было двигаться навстречу информантам, И. И. спросил: «Вы читали Оруэлла, “1984 год”? Я Вам расскажу». Следующий час было очень тихо, сапоги не издавали звуков, и солнце не жгло. Модели языка согласились на новое прочтение, а информанты начали немедленно раскрывать имевшиеся в их распоряжении языковые тайны. Так состоялось знакомство с И. И. В «Воспоминаниях» И. И. пишет, что внутренний голос повелел ему идти в машинный перевод и в структурную лингвистику. Внутренний голос определил и последнее десятилетие его жизни.

Рождение И. И. отмечено печатью экзотики. Это произошло 24 апреля 1923 года в Константинополе, причем спешащую к родам дочери бабушку доставили в нужное место некие контрабандисты. Детские годы прошли вокруг Константинополя, в Париже и в Лондоне. На фотографиях запечатлен в гамаке удивительно красивый ребенок с длинными ресницами, и рядом – родители: счастливая женщина с милым и добрым лицом, худощавый мужчина с умным и проницательным взглядом. Но И. И. не дано было запомнить это время, и первое его воспоминание – о счастье – относится к жизни в Москве, как он пишет, «в мансарде дома немецкого консула на Поварской»:

«Помню, как меня одного выпустили во двор. По-видимому, в один из первых дней зимы, так как около дома покрылась довольно толстой ледяной коркой лужа. Я осторожно ступаю на лед и он отламывается, и под ним (как я понимаю, только поэтому я не промочил ноги) пустота, вся вода вымерзла, и нога проходит вниз и лед хрустит и распадается на мелкие льдышки. И это мое самое счастливое впечатление в жизни, и наверное, одно из первых».

Семья И. И. пережила все, что предлагал соответствующему социальному слою повернувший историю государственный режим. Его дед никогда не брал билеты в трамвае, объясняя внуку: «Милый, они у меня взяли больше», и в обысках конца 30-ых следователи охотились не только на членов семьи, но и за мифическим золотом. Кстати, эти следователи были любознательными людьми: их привлекла находившаяся в доме книга «За закрытой дверью», содержание которой можно было воспринять как клубничку – мальчики же: И. И. и его брат Дэвик – теперь его тоже нет на свете – играли в шахматы. Долгие годы провели в заключении два дяди И. И. – писатель и экономист, а одна из теток, видный член партии эсеров, рассказывала в доме на улице Дыбенко, где прошли десять лет жизни, как ей в лагере вырезали аппендицит без наркоза (при этом она все время водила рукой по столу, как будто собирая крошки). Беспартийный отец И. И. избежал тюрьмы благодаря тому, что сразу

после возвращения в Москву покинул свой пост и стал преподавателем английского языка в техническом институте. У матери И. И. была школьная подруга – жена Ежова. Работая некоторое время в известной организации, мама И. И. в тайнике, каковым являлся полый каблук, приносила важные документы на английском языке, которого не знала, – чтобы отец переводил их. В «Воспоминаниях» И. И. рассказывает, как «исчезали» (испарялись – оруэлловское слово) ответработники – родители детей, с которыми И. И. учился в знаменитой школе под названием МОПШИК:

«Партийность воспринималась как своего рода дворянство. В классе висели огромные цветные диаграммы: сколько у нас родителей партийных и сколько беспартийных, ...и служащие, если они беспартийные, всегда портили эти диаграммы».

Таким образом, И. И. уже с детства был подготовлен к реплике его родственника, прозвучавшей, когда умер Сталин: «Все-таки сдох, собака!» Он был подготовлен и к последующему оперативному переводу на немецкий язык закрытых материалов XX съезда. Но и для него, как он признавался, это было потрясением.

И. И. вспоминает Москву того времени, когда «извозчик был вроде такси» и автомобиль был огромной редкостью, когда Усачевка звучала так, как в 1963 звучали Черемушки, а позже Тропарево, когда за казармами в Хамовниках «начиналась настоящая деревня, потом какие-то свалки... а дальше у Новодевичьего огромные поля какого-то большого огородного хозяйства». Пятиэтажный дом на Остоженке, в котором И. И. прожил основную часть жизни, казался ему «громдным». С домработницей Машей И. И. ходил гулять на Зубовский бульвар, «где было много красноармейцев (они стояли рядом в Манеже)»:

«Еще Маша любила Храм Христа Спасителя и потому я бывал там даже на торжественных службах. Я любил сбегать вниз по лестницам от этого храма до самой Москва-реки».

И к числу «важных внешних событий, заведомо относящихся к 1 классу, был взрыв Храма Христа Спасителя:

«Разрывы были великолепны, как на войне, а осколки долетали до школы. Нас не пустили домой, и мы до вечера сидели в школе».

Внутренним же событием, была, очевидно, любовь к матери:

«Зимой меня отправили в Лесную школу, в Пушкино по Северной железной дороге. Ехал я туда с мамой впервые в жизни на электричке и очень хорошо запомнил ощущение невиданной скорости... в Лесной школе я ... посреди зимы заболел. Очень хорошо помню, как меня везли на лошади в очень уютных крестьянских санях на другой конец поселка, где была, наверное, детская больница или изолятор. Как я лежал там, не помню, но только помню, в один день я услышал в коридоре чей-то голос и вдруг изо всех сил закричал: «Это моя мама!» Мама И. И. скончалась в 1953 году.

22 июня 1941 года праздновалось на даче окончание школы. И был сон: началась война. Этот сон подтвердился первым же, кто пошел среди дня за керосином. Отец И. И. пошел в ополчение и погиб в первые же недели войны, а сам И. И. был призван в армию.

Людам, прошедшим войну, свойственна порой некая особая простота. Их внутренний мир и способность к действию определяется четкими представлениями о добре и зле, которые «проверены» кровью и смертью. Такими были уцелевшие школьные друзья И. И., которых он очень любил. Появляясь на улице Дыбенко, они аккуратно снимали обувь, оставаясь при этом в носках, пили водку, вели жаркие споры и оценивали события 60-70-ых годов по параметрам военного времени. И. И. в действующей армии заболел тяжелейшим туберкулезом и был отправлен умирать в Ивановскую больницу, в которой, лежали, наряду с другими, уголовники, так что И. И. получил богатейший материал для Словаря блатного жаргона. Он занимался этим словарем и впоследствии, уже закончив, собственно экстерном, немецкое отделение переводческого факультета МГПИИЯ, и по нынешний день сохранились маленькие бумажные квадратики, на одной стороне которых можно прочесть сведения из отрывного календаря 1947 года, или Chronik des internationalen Ereignisse, или A. G. Kurosh. Eine Monographie, а на другой – написанные карандашом: *серьга* – замок, *кроснуха* – товарный вагон, *кешер* (берданка) – передача, иногда с выписками из Гиляровского. К памятного декабрьскому симпозиуму 1962 года И. И. частично обобщил этот материал в «Семиотическом анализе тайных языков». Блокнот с надписью «Да здравствует XXIV годовщина Красной Армии. Тыл и фронт неразрывны» приоткрывает внутренний мир юноши, по отношению к которому судьба распорядилась закрыть пневмоторакс, чтобы он сделал хотя бы часть из того, что мог. В блокноте – стихи, многие из них – клишированно-патриотичны, возможно, они предназначены для опубликования (стоят галочки). Одновременно четко видны приоритеты: стихи обращены или посвящаются матери, любимому другу Герману Белевицкому. (Так, в первые дни войны, в июле 41-го написано стихотворение «Маме», вот первая строфа: В эти дни как-то жутко краснеет закат Над притихшей и ждущей Москвою. И налитые кровью стоят облака, Говорят: Жди! Сирены завоюют», и в одном из стихотворений обращенных к Герману, явственно звучит романтическая нота – недаром же И. И. называли в то время Сирано де Бержераком, да он и играл его: «Мы отправляемся с тобой На маленький трамвай речной, Крылатый бриг по океану Летит в неведомые страны). Стихи обращены к Блоку и Тютчеву («Я смотрю сквозь книжные страницы на далекий лик Прекрасной Дамы»), интертекст в них дрожит и трепещет, вплетаются Есенин и Маяковский, и особую роль играют переводы – из Гете, Гейне, позднее, и это уже не связано с блокнотом – Шекспира. А в блокноте содержится еще «Конец феерии» – повесть, которая начинается так:

«Много интересных встреч и знакомств было у меня за время войны и на фронте и в тылу, но наиболее интересные из них несомненно произошла в больнице имени Кащенко, где вместо сражений с фашистами пришлось воевать с докторами и доказывать им, что я здоров.

Здесь я познакомился с одним танкистом, старшиной Алексеем Григорчуком, который заинтересовался моими стихами.

- Ты, наверное, любишь Александра Грина?
- Еще бы!...

Тогда он показал мне некоторые рукописи Грина, оставленные ему отцом – другом Александра Гриневского (настоящая фамилия Грина). Среди них я нашел никому неизвестное окончание «Алых парусов».

Вот то, что мне удалось восстановить.

И дальше, по всем правилам «Рукописи, найденной в Сарагосе», следует продолжение «Алых парусов». Серьезные и шуточные стихи, стихи-экспромты И. И. продолжал писать на протяжении всей жизни, равно как и переводить – Рильке, например, а, выучив иврит, делал переводы и с иврита.

К моменту переезда на улицу Дыбенко И. И. был вполне сложившимся человеком, чье главное увлечение составляла наука. Улица Дыбенко, находящаяся на окраине Москвы, казалась, да кажется и теперь, некоей стоянкой неолита, а нахождение в ней для «центрового» московского человека виделось как нечто исключительно временное – год, два, и можно будет снова вернуться в арбатский переулок, где родилась и выросла. Но И. И. это пристанище временным не казалось, никакого желания вернуться обратно он не испытывал, тем более не предпринимал никаких шагов по удалению во внутрь от Московской кольцевой дороги. Ему нравились заснеженные пространства, лес с грибами, канал, длительные прогулки в одиночестве, с близкими, с друзьями, с коляской, в которой лежал маленький сын. На подаренной И. И. книге Каверина есть надпись: *It's such a great relief to say The rest of life will be O'K'*. Жизнь о'кей строилась на четких мировоззренческих основаниях. Из детства, из довоенной жизни остались: «Так я не франт» (от деда, не бравшего билет в трамвае), «энциклопедия – это наука о циклопах» (от отца, как реакция на ненужные или бессмысленные вопросы), «если надо что-то объяснять, то ничего не надо объяснять» (собственный опыт, как веха в понимании человека). В «Воспоминаниях» И. И. пишет, что он был «покорным мальчиком». Однажды его родители везли на саночках, и он случайно выпал из санок, и так остался лежать в снегу, пока не спохватились родители, – думал, что так и надо (в детстве один из сыновей И. И. повторил этот поступок в водной стихии – провалившись в огромную лужу, он лежа на спине и раскинув руки, свободно и вольно продолжал глядеть в небесное пространство). Действительно, можно сказать, что во всем, что касалось внешнего ряда, И. И. был покорным судьбе и даже правильным человеком, например, он по утрам делал зарядку. Однако он не терпел насилия. Как-то пришлось оказаться в дальних залах Эрмитажа, там, где французские импрессионисты, а время было поздний вечер, и звонок прозвенел, и Эрмитаж закрывался. Стройными рядами двинулись служители, вытесняя двоих оставшихся. И чем больше они вытесняли, тем больше упирался И. И. Он останавливался около каждой картины, делился пространственными наблюдениями около «Женщины в зеленом» Кесс ван Донгена. Когда И. И. подписывал угрожающие ровной жизненной поступи заступнические письма, он не обсуждал это с семьей, и предложения подумать о будущем его бы не остановили. И. И. не стремился к улучшению благосостояния, его вполне устраивал минимальный набор мебели в виде дивана, письменного стола и стеллажей для книг. Он не о чем не просил, и даже телефон был поставлен на улице Дыбенко через шесть лет после переезда туда вследствие грузинской щедрости. И. И. все время о чем-нибудь размышлял, поэтому для него не было проблемы надеть перед выходом из дома один шарф на другой и потом актив-

но участвовать в поисках внезапно пропавшего и, как казалось, исключительно красивого клетчатого мохерового кашне. Бытовое бесстрашие И. И. находило многообразные формы: если случалось задержаться в городе даже и до полуночи, входная дверь открывалась уже с вечера, она тем временем распаивалась, и, выпрыгнув из такси и с разрывающимся сердцем вбежав в квартиру, можно было лицезреть мирно спящего ребенка и доброго, милого, ласкового И. И., который по пробуждении наглядно и доходчиво объяснял преимущества подобного разомкнутого способа бытия. Однажды было обращено внимание И. И. на то, что в раскрытое окно на первом этаже настойчиво стремится проникнуть неизвестный человек. Занятый размышлениями о германских дифтонгах, И. И. сначала не отзывался, а потом предложил: «Может, ему что-нибудь нужно?» Проникший неизвестный между тем уже выходил через дверь. «Вот видишь, ему действительно было что-то нужно», – удовлетворенно заметил И. И. и углубился в работу. И. И. никогда не отказывался от домашних забот, поступая в иных случаях абсолютно неординарно. В «Воспоминаниях» И. И. пишет, что хорошо запомнил «такие второстепенные уроки, как труд, пение и физкультуру. Труд преподавали тогда очень хорошо, в подвале были оборудованы прекрасные столярная и слесарная мастерские, где я сам изготовил какие-то рамочки, потом скобы и даже сделал для бабушки кухонную досточку для рубки овощей». «Рамочки» и «досточки» на улице Дыбенко не создавались, но зато был изобретен универсальный метод – метод спичек. Обернув спичку ваткой и опустив в белила, можно было на редкость быстро удалить все ненужное на машинописных листах и осушить слезы на глазах сперва рыдающей, а потом сияющей от счастья аспирантки. Пятиэтажные «хрущевки» начали разваливаться так же быстро, как строились, и здесь-то стало абсолютно ясным, что добывание огня с помощью спичек есть их совершенно второстепенная функция. Спички устанавливали стены, спички укрепляли стеллажи. Последние из них, гармонично заполняющие пространство между вертикальной опорой и потолком, были извлечены всего лишь пару лет назад. Что уж говорить о роли спичек в починке настольных ламп и вообще светильников, холодильника, стиральной машины и телефона. С И. И. было очень интересно находиться рядом. Как когда-то в Полесье, все отступало, быт не существовал, вы слушали и были услышаны. И. И. умел встать на сторону собеседника и на вопрос, нередко провокационный, он на минуту замолкал, смотрел в окно, шел в кабинет, возвращался, его ответ мог вызвать неудовлетворение, он шел пройтись, он возвращался. И долгие, долгие годы после его смерти казалось, что это ошибка, что он вернется, что уже можно видеть, как он идет сквозь заснеженное поле, и в руках у него – большой портфель, в котором все вперемешку – творог и шампунь, клей и аскорбинка, и главное – книги, оттиски, рукописи, чудесный мир, в котором всегда тайна и радость ее открытия. И. И. был необычайно кротким, благодарным и сдержанным человеком. Престиж, слава, карьера, снобизм – как же это было далеко от него. Когда из Лондона позвали к телефону Ивана Ивановича Ревзина, он решил, что речь идет об однофамильце. И. И. не видел удовольствия в том, чтобы с победным видом сообщить о неудовлетворенности чьей-то работой, выказать чьи-то ошибки. Его признательность вызывала казавшаяся ему вкусной еда, то, в чем он видел заботу о себе. Максимум, который И. И. мог допустить в

выражении отрицательной эмоции в частной жизни, показывает следующий случай. Одна узбекская гостья, настойчиво советовавшая И. И. мыть волосы луковым отваром, решила приготовить особо вкусное блюдо под названием халватар. На тарелке лежало нечто серое, поразительно напоминающее мокрый песок данного цвета. И. И. попробовал и в ответ на любезный вопрос: «Вкусно?» честно сказал: «Не очень». И это в то время как другие пытавшиеся отведать блюдо впрямую говорили, что оно несъедобно. С И. И. было трудно поспорить. Однажды это почти удалось, но поскольку прекращение общения предполагалось на долгий срок и дело было летом, нужно было тогда сказать И. И., где находятся зимние вещи, и участники несостоявшейся ссоры дружно рассмеялись. Но И. И. не терпел хандры, тоски, отчаянья. Он считал это недостойным человека, оскорбляющим подаренную ему жизнь. Если не ладилась статья, он начинал переводить, если уставал, играл сам с собой в шахматы. Он получил высокий разряд через некий объявленный в газете конкурс, но узналось об этом случайно, по обнаруженному во время уборки на его письменном столе диплому. И маленькие магнитные шахматы были с ним в его последней больнице. И. И. верил в тех, кто был с ним рядом, и это подвигало на лучшее, на вдохновение. И. И. с его кротостью и тишиной оказывал удивительно облагораживающее воздействие на представителей человеческого рода: женщины переставали стрекотать о своих глупостях, от мужчин на время отлетало то, что было неприемлемо. И. И. любил своих родных и родных его новой семьи, он любил своих друзей и был действительно предан им. Даже в шутку он не позволял сказать о них что-то сомнительное, и этот романтизм, столь ярко осветивший его юность, прошел сквозь всю его жизнь. Поэтому ему было так больно, когда свершилось то, что он посчитал изменой друзей, и он стал меньше улыбаться. Но это, к счастью, не было глобально, многие коллеги приезжали на улицу Дыбенко и если было большое сборище, И. И. любил поступать так: когда все собирались за накрытым столом, чтобы пить, есть и говорить, сам И. И., съев что-либо, потихоньку удалялся в другую комнату, чтобы сразиться в шахматы. На недоуменный вопрос и попытки вытащить И. И. обратно, он отвечал: «Разве что-нибудь не так? По-моему, все отлично», – и глаза его светились от счастья. И. И. преимущественно не пил, хотя глоток коньяка в кофе или после него считал делом подходящим. И все же однажды И. И. напился, и это было так здорово, так весело, что об этом нельзя не упомянуть. В 1969-1974 г. в доме на Дыбенко жила параллельно семья Пятигорских. А. М. приходил прямо с утра, чтобы выпить кофе, позвонить по телефону (в его квартире телефона не было) и обменяться новостями. После ухода Ал. М-ча И. И. некоторое время хранил молчание. Ал-Моисеевич не получал газет, у него не было приемника, и источник новостей оставался неясен. К тому же буквально через полчаса Ал-М и И. И. встречались в овощном магазине, где Ал-Моис. сообщал «уточненные данные». Самое поразительное было то, что большинство новостей оказывалось достоверным, то есть предьявлялись налицо доказательства того, что словесный текст предшествует тексту жизни. Между тем Ал-Моис. тоже любил сборища, и вот однажды за столом в его доме вдруг послышался необычайно возбужденный, веселый и раскованный голос И. И. – это был совершенно несвойственный ему частный дискурс, едва ли не о Диме Сегале, причем с повторами: «А он говорит... А он сказал, А я

смотрю...» И. И. был такой счастливый тогда, и невольно вспомнилась фраза участника полесской экспедиции, когда И. И. в последний день припугнул кур и их петуха, сказав: «Кыш!» Фраза эта была – «Ишь, расхрабрился!» Когда И. И. поднялся из-за стола, все стало ясно, такое можно было сравнить только с незабываемым актом Ю. М. Лотмана: на одной из затянувшихся до поздней ночи встреч в квартире И. И., в процессе которой было выпито немало водки и коньяка, Ю. М. вышел на кухню, галантно осведомился у хозяйки, не нужна ли его помощь, и убедившись, что это не требуется, произнес: «Тогда я пошел», приняв за дверь раскрытое окно. И. И. уважал человеческое достоинство и был терпим к людям. Аспирантам он предлагал сначала написать текст, прежде чем вести обсуждение. И почти невозможное – «любить человека таким, каков он есть, а не таким, каким ты бы хотел его увидеть» – удавалось И. И. Но если все же некий предел был превышен, И. И. предлагал индивидуальное общение, тихо закрывая за собой дверь кабинета.

Структурализм, стремление к объективности, к закономерностям – в чем-то поразительное явление. Эта модель так напоминает тоталитарное государство. А может быть, это было изживание этой модели. И. И. было открыто многое: живопись и музыка, семиотика и математика, лингвистика в проекции на разные языковые типы, поэзия, литература, филология. О своем научном пути и той научной школе, к которой он принадлежал, И. И. рассказал в своих «Воспоминаниях», ныне изданных, хотя и не в полном объеме. Будучи участником всех пяти Летних семиотических школ, И. И. формовал и лепил изнутри, как и его коллеги, новое научное пространство, и оно не было ни узким, ни замкнутым. Это ясно видно по виртуозному описанию структуры немецкого языка – книги, законченной в феврале 1974 года и до сих пор остающейся неизданной. Все прервала его смерть.

В один из последних дней декабря 1973 года был включен появившийся в летнее время телевизор, по которому днем передавали комедию «Антон Иванович сердится». И. И. стоял у окна и не хотел оборачиваться. Когда он все же обернулся, показалось, что глаза его были влажными. Невозможно ответить на вопрос, предчувствовал ли И. И. скорую смерть, но он работал не останавливаясь и последние свои статьи (например, о скрытых категориях в немецком языке) печатал прямо на машинке. Предвестников же, которых никто не опознавал, набралось предостаточно. Под Новый год зачем-то был написан святочный рассказ с нелепыми фразами «Давайте задумаемся о наших потерях» и «Что потеряно, то навсегда твое». Обсуждались внезапные смерти 46-летнего соседа во время спуска на лыжах и знакомой женщины из соседнего дома, только что подарившей своему мальчику лиловые сапоги. Но вновь было Тарту, И. И. приехал оживленный, помолодевший и много рассказывал о том, куда движется семиотика. В феврале был отпразднован день рождения близкого друга семьи, и многим запомнился в тот вечер И. И.: рядом с ним на высоком стульчике сидел его маленький сын и не останавливаясь погружал в сладкий чай хлебные крошки; не спуская с него мудрого и обожающего взгляда и не прерывая, И. И. осторожно и в том же ритме выкладывал эти крошки на блюдечко. 6 марта удалось вырваться на пару часов из дома, и после посещения выставки Тутанхамона состоялся пеший проход до метро Площадь Революции по Александровскому саду, и И. И. рассказывал об Иосифе Прекрас-

ном. 16 марта был юбилей любимого дяди И. И., ехать надо было далеко, через всю Москву на Молодежную, что-то уже томило И. И., на переходе он остановился, но он ничего не ответил на вопрос: «Что? Что с тобой?» До этого он уже был в поликлинике, где решили, что главное – запломбировать зуб, и снимок зуба остался навсегда. Но он плохо себя чувствовал и лежал свернувшись на диване. 20 марта утром в пятницу было взято такси, И. И. сказал, что его не надо провожать в больницу, поэтому когда такси доехало до Моховой, можно было отправиться в Лабораторию вычислительной лингвистики, где состоялось обсуждение проблем русского падежа. В академической больнице для научных *important persons*, где умели подавать на завтрак черную икру, но не умели поставить диагноз, о котором помнит любой поселковый хирург, пришли к выводу, что перед ними очевидный случай чрезвычайно редкой болезни грыжи белой линии живота, и немедленно эту белую линию порезали. После операции И. И. два дня чувствовал себя хорошо, играл с братом в шахматы, только температура была 37 и четыре. Во вторник, у входа в больницу, без всякой конкретики, так сказать, в абстрактном смысле было сказано спутнице: «В любой момент можно ждать чего угодно». В коридоре стоял сосед по палате. «Вашему мужу очень плохо». Что плохо? Лека, я умираю, скажи им, чтобы мне сделали операцию. При тромбе в воротной вене был поставлен диагноз «внутреннее кровотечение», и продолжали свертывать кровь. На следующее утро, в среду, когда уже было поздно, операция была сделана. Бегите вниз, Вы увидите, как его везут в реанимацию. Он лежал обложенный грелками, в другом мире. Ваш муж очень терпеливый человек, он, видимо, две недели проходил с тромбом, если удастся остановить интоксикацию, он еще сможет жить. Оставшаяся часть дня – кружение по Москве, добыта, благодаря Вяч. Всев., из Германии стрептаза, сделан перевод инструкции по телефону благодаря Владисл. Митроф. и Татьяне Яковлевне Андрющенко. В 12 часов ночи – звонок в реанимацию: разрешить приехать привезти лекарство, инструкция на русском. У нас все идет по плану, назначения сделаны, приезжайте утром. А в час ночи начался отек легких. И. И. как будто пришел в сознание, спросил: «Я умираю?» и сказал: «Бедные, бедные мои дети!» В семь утра – снова звонок в реанимацию, состояние крайне тяжелое, приезжайте немедленно. Какую маленькую скорость развивает такси! Врач медленно мыл руки под краном. Он умер пять минут назад. Лицо И. И. было спокойно и прекрасно. Так 28 марта 1974 года кончилась жизнь Исаака Иосифовича.

Когда Эрнст Неизвестный сделал надгробие из серого гранита, И. И. был жив, и люди эти не знали друг друга. Высеченная в камне скорбная склоненная голова напоминает черты человека, чей прах покоится под надгробием. Эрнст Неизвестный уехал из Москвы много лет назад, и ныне его работы широко известны. Но та, что стоит в безвестном Долгопрудненском кладбище, возможна, лучшая. Верится, что И. И. она бы понравилась.

Георгий Александрович Лесскис

Чтобы понять значение человека, который ушел навсегда, нужно время. Нужно – не понять, но ощутить, что он действительно ушел, что его больше никогда не будет. Не будет встреч, телефонных звонков, не будет самой этой возможности выбора – не получилось встретиться сегодня, встретимся завтра. Лишь постепенно то, что происходило в последовательности, перестраивается в соположение, в связи и переключки, которые прежде не замечались. Георгий Александрович Лесскис ушел так недавно – всего год назад, что письмо о нем превращается в разговор с ним. Кажется, что он склонился и спрашивает: «Что Вы, Оля, здесь пишете?» Или, достовернее, что я приезжаю к Георгию Александровичу, и он говорит: «Вы продолжаете писать? Я был бы рад послушать Ваши рассказы».

А я пишу о самом Георгии Александровиче, и я не хочу быть беспристрастной. Масштаб личности Георгия Александровича становился ясным сразу же, с момента знакомства – а наше знакомство произошло в октябре 1963 года. Раскрылась дверь в гостеприимном доме в Черемушках, и на пороге показался человек в белейшей рубашке, с вдохновенным и умным лицом. Георгий Александрович сразу заговорил о главном: о Пушкине и «Пиковой даме», о Софье Власьевне (такое имя было присвоено советской власти ее противниками) и революции. Мне в Георгии Александровиче нравилось все. Мне нравилось не только белейшая рубашка, но и безукоризненно сидящий на нем черный костюм-тройка. Мне нравилось, что Георгий Александрович всегда вставал здороваясь – он делал это даже тогда, когда вставать ему стало трудно. Мне нравился великолепный русский язык Георгия Александровича и то, что Георгий Александрович не мог быть мелким ни в поступке, ни в разговоре. Мне нравилась цельность и прямота его натуры, его огромное трудолюбие, его увлеченность людьми, знанием и жизнью. Но больше всего меня радовала – и примиряла с миром – необыкновенная доброта Георгия Александровича. Она была его сутью, его константой, дело было не в каких-то специальных добрых делах, а хотя бы в его взгляде, всегда оживленном и таком добросердечном, как будто он хотел сказать совсем простые и для него не характерные слова: «Оля, дружок, веселее». Всю мою – теперь уже долгую – жизнь Георгий Александрович поддерживал меня, он был рядом в самые тяжелые, в самые трагические периоды моей жизни, и даже во время панихиды, когда я впервые увидела его прекрасное лицо запрокинутым вверх, а не обращенным к людям, Георгий Александрович будто улыбнулся и ответил на мой невысказанный вопрос: «Видите, Оля, это совсем нестрашно». Да, Георгий Александрович принадлежал к той редчайшей породе людей, от которых исходит только добро.

Георгий Александрович был очень страстным человеком. Это означает вот что: все, что делал Георгий Александрович, делал со страстью. В квартиру, где жили Георгий Александрович, его первая жена Ирина Константиновна и два их сына Саша и Вова, меня привел мой будущий муж Исаак Иосифович Ревзин. Мы быстро подружились и стали играть в крокет. Для этой игры нужно многое: молотки, воротца и главное – зеленое поле. И мы ездили куда-нибудь неподалеку от Черемушек – в Зюзино или даже в Узкое и там играли. Боже, что происходило с Георгием Александровичем, если кто-то из его ко-

манды не закатывал мяч в лунку, тем более неправильно держал молоток. Его возмущению, его праведному гневу не было предела. Он ходил по полю большими шагами и говорил все, что думал о человеке, который так вот мог себя вести. То же самое происходило, когда играли в карты. Георгий Александрович, а тем более его сын Вовка, играли прекрасно, я карты терпеть не могу, а Исаак Иосифович занимал созерцательно-философскую позицию: для него главное было добиться предотбойного или, еще лучше, отбойного состояния, а то, что это состояние наступало уже после плачевного исхода, его совершенно не волновало. Ясно, кто выигрывал в абсолютном большинстве случаев, но если нет... Милый Георгий Александрович, сколько раз я задавала себе вопрос, почему в моей памяти так свежи эти сцены, почему я смеялась тогда и улыбаюсь теперь, вспоминая, сколько укоров обрушивалось на голову влюбленного в отца одиннадцатилетнего сына-подростка, каким серьезным и искренним было переживание неудачи. Но я уже давно знаю ответ – не было однобокости, редукции себя до одного параметра, а была – чудесная влюбленность в жизнь, во все ее проявления и в неповторимость каждого момента. В мае 1964 года мы относительно большой компанией поехали в Ленинград. На второй день ближе к ночи обнаружилось состояние недопитости, как выразился бы Александр Моисеевич Пятигорский, а пить больше было нечего. Георгий Александрович и Саша Михайлов (будущий известный культуролог и переводчик, к которому смерть пришла так преступно рано) сели на такси и поехали в центр. Часа через два в подъезде послышались шум и перепалка двух мужских голосов. Георгий Александрович, в выдавшем виды кожаном пальто, шел впереди. Он повторял – весьма эмоционально – одно и то же слово, которое следовало счесть бранным в устах интеллигента-западника. Спутник Георгия Александровича покорно вторил ему, переводя прозвучавшую в свой адрес характеристику в формулу согласия. Но Георгия Александровича это раскаяние несколько не успокаивало. Им даден был ключ, они перепутали дом, вошли в чужую квартиру, счастливо унесли ноги, и тут Саша Михайлов поскользнулся и разбил возделенную бутылку «Гурджани». Такое прощается? Через пару дней, по невероятному стечению обстоятельств, мы переехали в гостиницу «Англетер». Здесь я заметила, что Георгий Александрович всегда садится так, чтобы видеть входную дверь. Я узнала про арест 1938 года, про обвинение в поджоге Кремля и встречу со Сталиным на Крымском мосту.

В начале 60-х я училась в аспирантуре, и мне было скучно со своими сверстниками. Я не знала, кто я, а может быть, меня еще не было, и вдруг мне открылся новый мир – эти люди были взрослыми, когда я родилась, они прошли войну, они знали, что такое 30-е годы и каким может быть будущее, как может ломаться жизнь не дожидаясь расцвета. В день, когда родился мой старший сын, Исаак Иосифович и Георгий Александрович пили вдвоем красную и терпкую «Бычью кровь», и каждый год 3 декабря я знала, что увижу Георгия Александровича или услышу его голос по телефону.

Такая была полнота бытия, Георгий Александрович находился в преддверии большой любви – им с Ксенией предстояло прожить счастливые десятилетия, а про третьего своего сына Юрочку Георгий Александрович рассказывал так: Ксения и Георгий Александрович играют в шахматы, четырехлетнему Юрочке надо непременно взобраться на доску, «Нельзя, Юрочка!» – го-

ворит Георгий Александрович, и Юрочка охотно снимает сандалии – потому что, правда, нельзя же на шахматную доску – в обуви? И когда Георгий Александрович все это рассказывал, у него замечательно светилось лицо, надо было только запоминать – и я запомнила. Георгий Александрович был выдающимся ученым-филологом. Не по должности, но по истине это был настоящий университетский профессор. Он обладал даром красноречия, неотразимо действовавшим на молодое поколение. Я наблюдала это много лет, приходя к Ксении и Георгию Александровичу в дом напротив Третьяковки в Лаврушинском переулке. На протяжении своей жизни Георгий Александрович работал в разных местах, в которых была востребована лишь незначительная часть его возможностей. Но всюду появлялись новые друзья, Георгий Александрович читал лекции на дому, у друзей вырастали дети и влюблялись в Георгия Александровича, как их родители. Георгий Александрович никого не терял: школьного учителя, тех, с кем учился в ИФЛИ, с кем разрабатывал алгоритмы автоматического анализа русского языка. Обязательно собирались пятого марта, восьмого мая и, конечно, двадцатого декабря – в день рождения Георгия Александровича. Меньше пятидесяти человек не приходило, конечно, пели и, конечно, пили, но главным была одна система ценностей и общая потребность в разговоре – о политике, о философии, о литературе. У Георгия Александровича с каждым были свои отношения, он был естественным центром, и рассредоточение гостей в пространстве, локальные объединения по двое – по трое, а то и просто пребывание наедине с собой «среди шумного бала» не отменяли структурированности пространства благодаря Георгию Александровичу. Он мог быть очень трогательным – предлагая попробовать настойки собственного изготовления, полюбоваться коллекцией чашек, к которым начал проявлять неожиданный интерес примерно с конца 70-х годов, так что было уже известно, чем можно порадовать Георгия Александровича в день его рождения, да и сменяющие друг друга кошки и собаки не слышали от Георгия Александровича худого слова.

Георгий Александрович был максималистом в науке. За какую бы тему он не брался, он должен был исследовать ее в полном объеме, от начала и до конца. Так было, когда Георгий Александрович взялся за анализ длины предложения в научном дискурсе XIX века сравнительно с художественным – полученные им выводы не могли быть оспорены, потому что вся его методика была абсолютно прозрачна и был рассмотрен огромный материал. Так было, когда Георгий Александрович и Ксения приступили к разработке грандиозного проекта, относящегося к образу автора в русской и мировой литературе. В их совместных статьях были предложены отточенные формулировки, относящиеся к соотношению автора, повествователя и писателя, к семантике перволичной и третьеличной формы повествования. Эта тема стала модной намного позднее, и сколько же работ, в том числе известных авторов, выглядят бледными перепевами этих действительно фундаментальных исследований.

Впрочем, такая прагматика мало интересовала Георгия Александровича, для которого существовал единственный – пушкинский – критерий: «Ты сам свой высший суд». И как ни значительны названные работы, все же главным призванием Георгия Александровича оставалась русская литература. Это было непрерывное движение по восходящей, начиная с кандидатской диссертации,

посвященной «легкой поэзии». Здесь возникают три имени: Пушкин, Толстой, Булгаков. И все неправда, что с возрастом происходит угасание, человеческая физика голове не указчик. Все, что Георгий Александрович знал, он знал абсолютно. Это относится, например, к «Курсу общей лингвистики» Соссюра, но в десятикратной степени это относится к Пушкину. Если возникал спор о пушкинской строке или одном слове в строке, Георгий Александрович брал в руки нужный том академического издания Пушкина лишь для подтверждения сказанного им – и не было случая, чтобы Георгий Александрович оказался неправ.

Вообще трагическое ощущение, «декадентство» не были свойственны Георгию Александровичу, и по этому поводу он неоднократно выражал мне свое сочувствие. Георгий Александрович писал в стол, не думая о судьбе своих монографий, о том, суждено ли им быть изданными. И здесь он опять оказался прав, что называется, в высшем смысле, потому что казавшийся многим (мне тоже) незыблемым тоталитарный режим рухнул, и книги Георгия Александровича стали издаваться одна за другой. И они еще займут то почетное место в русской филологии, которое им предназначено.

В том, что Георгию Александровичу было неотчуждаемо близко, его было легко провоцировать. Я говорила, например, «Георгий Александрович, сейчас Толстого читать – что кефир пить, и потом у него герои какие-то статичные, про князя Андрея, Пьера, Наташу, Элен сразу ясно, кто плохой, кто хороший, прямо социалистический реализм какой-то, не даром Толстой всегда входил в школьную программу, а Достоевский и теперь порциями». От возмущения Георгий Александрович некоторое время просто не мог говорить, а затем... – затем он произносил великолепный монолог, равный по времени лекции, о внутреннем росте толстовских героев, о личности и мире Толстого – и что бы я там ни думала сама о Толстом, такую реплику стоило подавать, чтобы услышать, как и что говорил Георгий Александрович. Имея свой гамбургский счет, Георгий Александрович не очень нуждался в собеседнике-оппоненте. Однако к мнению людей, соответствующих этому гамбургскому счету, он прислушивался. Такими людьми были В. Н. Топоров, Ю. М. Лотман, Р. О. Якобсон. При этом у Георгия Александровича был совершенно свой путь и, скажем, отзыв Ю. М. Лотмана на его книгу о Пушкине был важен Георгию Александровичу, прежде всего, с точки зрения того, в какой степени этот путь был уловлен и понят. Семиотика и связанная с ней культурная парадигма отставили на какое-то время в сторону как будто простые и вместе с тем исключительно важные вопросы о человеке, придав им видимость решенности. Георгий Александрович как будто перешагивал через это время соблазнительных побед, он смотрел вперед, понимая, что вопросы-то не решены, что они обязательно станут вновь самыми главными. Монографии Георгия Александровича могли выйти раньше, но я прихожу к выводу, что они начали выходить вовремя, вместе с появлением читателя, которому близок и философский способ мышления, и экзистенциальные проблемы личности. Я сказала о том, что Георгий Александрович был всегда окружен людьми, что он был вне трагического. И вот это, в сущности, одиночество в науке, в том, что было для него самым важным, могло бы внести ноту грусти, но этого не было – было огромное чувство собственного достоинства и уверенности, идущей, возможно, и от

значительности того, о чем думал и что видел Георгий Александрович. Я испытываю радость, сознавая, в чем и как не ошибся Георгий Александрович. Не знаю даже, что было выше для Георгия Александровича – любовь или мужская дружба. Я вспоминаю их отношения с Исааком Иосифовичем. Георгий Александрович входил в наш дом и, сняв калоши (верность которым он сохранял до конца жизни), сразу же начинал ходить из одной комнаты в другую, высказывая вольнолюбивые мысли. Исаак Иосифович следовал за ним, и таков был зачин предстоящего развернутого концептуального разговора. Он продолжался во время прогулки в лес и в ходе длительной трапезы. Я позволяла себе осведомиться, не хочет ли Георгий Александрович откусить селедки, чтобы услышать его нелюбезное мнение об этом продукте. Георгий Александрович замечательно пил: во-первых, он становился все более оживленным и интеллектуально щедрым, во-вторых, он относился к тем людям, у которых под влиянием горячительных напитков со дна души поднимается не мутная взвесь, но благодать и доброта. Я вспоминаю ведшиеся за столом длительные полилоги, участниками которых были и Александр Моисеевич Пятигорский, и Юрий Михайлович Лотман, и замечательный человек, знаток санскрита Октябрина Федоровна Волкова. И кстати (Георгий Александрович обязательно заметил бы, что совсем некстати, и либо сделал бы изумленное лицо, а потом сказал бы «Кого?» вместо ожидаемого «Что?», либо упомянул бы о пагубном пристрастии некоторых к парадоксам), так вот, кстати об отношении Георгия Александровича к женщинам. Я даже не знаю, как его лучше всего назвать, потому что слово «рыцарское» все-таки не вмещает то соединение почтительности, чистоты и мужского достоинства, которое исходило от Георгия Александровича и которое так остро чувствовали, например, мы с Октябриной. А ведь Октябрина и фальшь были несовместимы. Вот еще один ракурс доброты Георгия Александровича: посчитав когда-то, что есть сходство между тем лицом, которое было выдано мне для земного существования, и тем, которое есть у ренуаровской девочки с веером, он продолжал говорить о сходстве даже и тогда, когда различия стали особенно бросаться в глаза. Вся полнота чувства Георгия Александровича к Ксении сквозила в гамме его обращений к ней и высказываний о ней – от нежно-фамильярных до уважительного и гордого «Ксения Николаевна». А выше дружбы и любви Георгий Александрович ставил только одно – жизненную позицию и мировоззрение.

Политическое мышление Георгия Александровича было таким же уникальным, как и профессионально-научное, да и тесно связано с ним. Всю жизнь он размышлял о французской и о русской революции. Он знал историю по дням и месяцам и, наверное, разнес бы в пух и прах западных поборников русской революции, не перестававших вкушать прелести принятого там «загнивающего» строя. Национализм он переживал как острейшую зубную боль, и соединение православия с национализмом было для него непереносимым. Георгий Александрович был страстным, очень страстным полемистом, и в политическом споре он умел отстоять ценившиеся им превыше всего либеральные ценности. Его тост за английскую королеву отнюдь не был милым чудачеством. Охотно поднимаясь вместе с другими, чтобы «чтобы сомкнуть бокалы» («Дамы могут не вставать», – любезно предупреждал Георгий Александрович), я думала о том, сколь действительны эти тосты в заснеженной российской глуши:

ведь налицо седьмое доказательство, как не преминул бы отнестись к Булгакову опять же Георгий Александрович, – в конце концов, кто иной обеспечивает долголетие правящих членов королевской семьи Великобритании?

Но Георгий Александрович не потерпел бы даже и безобидной шутки. Он произносил этот тост торжественно и самоуглубленно, осушал бокал до конца и особым движением отставлял его в сторону. Один раз любимейший друг Георгия Александровича начал кряхтеть, жаловаться, что, мол, ноги уже не те, старость проклятая – и не изменил сидячего положения. Георгий Александрович выждал время, чтобы дать другу одуматься, а затем, обратившись ко мне чуть ли не со слезами в голосе, сказал, что как ему ни горько, он не может находиться в месте, где не уважают английскую королеву, и закончил: «Ксения, пойдем!» Мне тоже было горько (тост за английскую королеву пьют вторым, то есть это было самое начало нашей встречи) и немного смешно, но я не могла не восхищаться Георгием Александровичем.

Георгий Александрович не презирал материального благополучия, но отводил ему лишь то место, которого оно заслуживает. В начале 90-х интеллигентский дискурс дрогнул, и стали возможны разговоры о потере материальных сбережений (они таки-были!) и о том, что хочется есть. Вот до чего никогда не опустился бы Георгий Александрович, и среди многих моих благодарностей я возношу ему благодарность за внутреннюю свободу, за то, что он знал, как следует человеку распорядиться данной ему жизнью и не отступил от этого знания. Последний раз я видела Георгия Александровича 26 декабря 1999 года. Мы приехали к нему и к Ксении вместе с моим вторым сыном Женей и провели вместе долгий и очень содержательный вечер. Я захватила с собой тоненькую школьную тетрадку в клеточку – после нашей поездки в 1964 году в Ленинград (между прочим, для Георгия Александровича Петербург не переименовывался, только одно имя было у любимого им города) я сделала домашнюю выставку, и эта тетрадка была Книгой отзывов. Мы вместе рассматривали славянскую вязь Ирины Константиновны, готический шрифт Александра Викторовича Михайлова, проникнутый подростковым нигилизмом отклик Владимира Георгиевича Лескиса, шутливые стихи Исаака Иосифовича и каллиграфически выписанное суждение Георгия Александровича. Мы вспоминали Исаака Иосифовича, мы говорили о разном, обо всем, да одного было жаль – приходилось идти на кухню, чтобы курить, но я возвращалась и слушала о том, сколько времени проводит Георгий Александрович за компьютером и о чем он собирается писать. Передо мной сейчас лежит чудесное издание: «А. С. Пушкин. Переводы и подражания. М., 1999», и на первой странице надпись: «Дорогой Оле с любовью от составителей. Георгий Лескис. Ксения». И это последний автограф Георгия Александровича, как зримая память о последней встрече. А в новогоднюю ночь мы с Гришей добрались до дома в Лаврушинском около пяти утра. Почему-то не отвечал телефон, мы уже вышли из машины – и вернулись обратно: хоть и слабо верилось – но вдруг в доме уже спят? Как будто Георгий Александрович мог не встретить первый рассвет 2000-го года. 10 января Георгия Александровича не стало.

Ко мне приехала Ксения и вынула из сумки маленькую шоколадную чашечку. Она сказала: «Оля, Вы знаете, сколько раз Георгий Александрович вспоминал, как Вы отпаивали его кофе после банкета в Кязэрику, завершавше-

го Летнюю семиотическую школу, когда он впервые рассказал Вам обо мне. Больше не будет коллекции чашек – я возвращаю их тем, кто их дарил, я думаю, что это правильно». Я смотрела на Ксению, видела внутренним зрением Георгия Александровича в Кяэрику, как он отказывается идти смотреть «Берегись автомобиля» с Иннокентием Смоктуновским, ибо не признает кино, как он беседует с Романом Осиповичем Якобсоном, как в Петербурге он вдруг оборачивается и говорит: «Оля, а Вы видели конную статую?» (так он назвал памятник царю), как Георгий Александрович приезжает в день смерти Исаака Иосифовича и его сын Саша протягивает мне все тот же кофе, и он молчит, он улыбается, и в глазах стоят слезы, и он повторяет: «Выпейте, выпейте, Оля!».

Я думаю, говорить ли Ксении, что Георгий Александрович был счастлив с ней, что он знал о ее мужестве, что я знаю убожество утешительных слов. Но я не произношу того, что известно двоим.

Мне вот только теперь хочется еще сказать про мой компьютер. Я начала писать этот текст с утра, но он исчезал бесследно, я начинала снова, и все повторялось, и это было много раз, и я поняла, что Георгий Александрович не может становиться текстом и не будет им. Об этом – любимый Георгием Александровичем Иосиф Бродский:

И январем его залив вдается
В ту сушу дней, где остаемся мы.